

А. М. Скабичевский

Николай Добролюбов

**Его жизнь и литературная
деятельность**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-94
ББК 63.3-8
А11

A11 **А. М. Скабичевский**
Николай Добролюбов: Его жизнь и литературная деятельность / А. М. Скабичевский – М.: Книга по Требованию, 2021. – 76 с.

ISBN 978-5-4241-2447-1

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

ISBN 978-5-4241-2447-1

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021
© А. М. Скабичевский, 2021

А. М. Скабичевский
Николай Добролюбов. Его
жизнь и литературная
деятельность
Биографический очерк
С портретом Добролюбова,
гравированным в Лейпциге
Геданом

Глава I

Детство Добролюбова. – Воспитание домашнее, в духовном училище и в семинарии

Недаром ставятся всегда рядом и составляют как бы один нераздельный триумвират великие русские критики В. Г. Белинский, Н. А. Добролюбов и Д. И. Писарев. Это объясняется не только тем, что все они по силе таланта и влияния на современников стоят на равной высоте. Подобное сопоставление имеет еще большее значение, если принять во внимание, что каждый из этих трех критиков был наитипичнейшим представителем своей эпохи: Белинский – сороковых годов, Добролюбов – конца пятидесятых, Писарев – шестидесятых, – и вместе с тем деятельность их словно сливаются в одну, так как едва смолк голос Белинского (не прошло и десяти лет после его смерти), появился Добролюбов и, сообразно времени, развил далее идеи Белинского, а затем для дальнейшего развития передал их Писареву.

Занимая, таким образом, центральное место, Добролюбов является в одно и то же время «созданием» Белинского и «создателем» Писарева. Он стоит во главе своего времени как воскреситель и хранитель всех лучших заветов сороковых годов и как инициатор всего движения шестидесятых.

Стоя во главе своего века как писатель, Добролюбов замечателен был сверх того и тем, что и как человек он был героем своего времени, поражая своих современников идеальной высотой своей личности, безукоризненной верностью слов и дел и нравственной чистотой, возвышавшейся своим строгим ригоризмом до подвижничества христиан первых веков.

По происхождению своему Николай Александрович Добролюбов принадлежал к духовному званию. Отец его, Александр Иванович, был священником нижегородской Никольской церкви. Семейство у него было большое, состояло из семи душ детей, и хотя достатков лишних не имело, но и тяжкой нужды не терпело. Вот в этой-то патриархальной семье старинного домостроевского типа, с беспрекословным подчинением младших суповой воле старших, первенцем и был Н. А. Добролюбов, родившийся 24 января 1836 года.

Отец Александр сверх церковной службы занят был и педагогической деятельностью – в должности законоучителя в нижегородском канцелярском училище, давал частные уроки, хлопотал на постройке своих домов, – поэтому редко бывал дома и мало занимался детьми, и последние росли почти всецело под попечением своей матери, Зинаиды Васильевны, – женщины, по общим отзывам, умной и прекрасной. Этим обусловливалось то, что Добролюбов в детстве своем несравненно более привязан был к матери, чем к отцу. Отец по-своему любил сына. Замечая его необыкновенную даровитость, раннее и быстрое развитие способностей, старик не скрывал от сына своих восторгов, любил иногда похвастаться им и перед чужими, приходившими к нему в гости и по делу. По-своему любил отца и сын. Но это была не столько любовь, сколько холодное почтение по чувству долга. Так, ниже мы увидим, что мальчик подвергал критике отношения старика к нему, и не всегда одобрительной, а порой дело доходило и до сомнений в любви отца к нему. Так, после смерти матери в письме к одному родственнику (15 апреля 1854 г.) он между прочим говорит: «Повериши ли, я часто желал знать, что думает обо мне, какие намерения касательно меня имеет

отец мой, какие чувства он питает ко мне...»

Совсем иначе любил он мать.

«О матери, – пишет он далее в том же письме, – никогда мне в голову этого не приходило; я знаю, что душа ее раскрыта передо мною, что в ней я найду только беспредельную любовь, заботливость и полное желание счастливой будущности... Теперь уже никто не взглянет на меня таким взглядом, полным беспредельной любви и счаствия, никто не обоймет меня с такой простодушной лаской, никто не поймет моих внутренних, мелких волнений, печалей и радостей... Знаешь ли, что во всю мою жизнь, сколько я себя помню, я жил, учился, работал, мечтал всегда с думой о счаствии матери! Всегда она была на первом плане: при всяком успехе, при всяком счастливом обороте дела я думал только о том, как это обрадует маменьку...»

В найденной же в его бумагах записке, несколько недель спустя после смерти матери, он пишет:

«От нее получил я свои лучшие качества, с ней сроднился я с первых лет своего детства; к ней летело мое сердце, где бы я ни был; для нее было все, что я ни делал».

И действительно, не только нравственным закалом, но и первым пробуждением умственных способностей Добролюбов всецело был обязан матери. Уже трех лет с ее слов он заучил несколько басен Крылова и прекрасно декламировал их перед домашними и чужими. Она же выучила его и читать, да, кажется, и писать. Когда ему пошел девятый год, приглашен был в учителя для него кончивший курс семинарии Садовский; но занимался с ним не более двух месяцев, так как поступил в священники. Тогда был приглашен воспитанник семинарии философского класса, Михаил Алексеевич Костров, впоследствии женившийся на сестре Добролюбова, Антонине Александровне.

«Пойдя к нему в учителя, – рассказывает Костров в своих воспоминаниях о Добролюбове, – я старался, во-первых, захотить его к учению, чтобы «учиться» обратилось для него в главную и насущную потребность; а во-вторых, – доводить его до ясного, по возможности полного и отчетливого понятия о каждом предмете, не слишком заботясь о буквальном заучивании им уроков (конечно, при обучении латинскому и греческому языкам приходилось ограничиваться только, впрочем, совершенно достаточным, знанием всяких правил грамматических и синтаксических). Покойная мать его не раз тут замечала, что из нашей классной комнаты почти только и слышно: «почему», «отчего» да «как» и т. д. Отец его, видя, что сын, при своей отличной восприимчивости, при усердии и любознательности, оказывал отличные успехи и что вообще наше учение идет в порядке, не мешал нам и свободно предавался своим служебным и хозяйственным занятиям, только иногда наведываясь узнать об его успехах и задавал ему те или другие вопросы, по тому или другому предмету. Таким образом наше учение продолжалось около трех лет, если из этой цифры не исключать месяцев пяти или шести его болезней или моих каникул».

В 1846 году десятилетнего мальчика отдали в высший класс духовного училища. По воспоминаниям о Добролюбове его товарища М. Е. Лебедева, 12-15-летние ученики четвертого класса были неприятно поражены, что к ним привели в класс учиться десятилетнего мальчика. «Говорят, братцы, подготовлен хорошо, – рассуждали они. – А латинский как знает! Книг много у отца... Он уж

Карамзина прочитал».

Начали присматриваться. Прежде всего оказалось, что мальчик очень нежный, барской наружности, с очень мягкими руками; увидали, что очень скромен и застенчив, как девочка, дичится всех, чуждается. В переменах классных и до прихода учителя ни с кем не якшается, а читает книжки, которые из дома носит. Книжки были все по предметам, проходимым в классе. В этом классе уже начиналось изучение латинского синтаксиса. Учитель, преподававший его весьма сильно, хотя и с мерами строгими до жестокости, задавал переводы с русского языка на латинский таким манером, что сам назначал только немногие латинские слова и фразы, наиболее трудные, а остальные приискивались самими учениками. Тогда-то Добролюбов поразил всех новостью: самостоятельно фразирия некоторые примеры, насколько знал латинский язык, он вставлял в данные сентенции совершенно новые мысли, так что с первого же ответа получил отметку наставника *ter optime*;¹ следующие отметки были: *exemie*, *ter exernie*² и ниже *uptime*³ никогда не спускались. Кроме того, наиболее замечательные из его упражнений учитель с искренним удовольствием читал и разбирал в классе при всех. Успех этот был поразителен: первые ученики бросались за ним в погоню. Изучение латинского языка сделалось весьма интересным (конечно, только для меньшинства и для учителя). Пытались объяснить сначала успех Добролюбова посторонней помощью, но скоро разубедились. Когда учитель заставлял в классе учеников «фразировать» по-латыни своими словами из Корнелия Непота и «Латинской хрестоматии», то Добролюбов постоянно отличался при всех. Наконец и собственные опыты его подражателей уверили, что это возможно и без посторонней помощи. С таким же успехом Добролюбов занимался священной историей, географией, арифметикой и другими науками, занял повсюду № 4 в списках и в 1848 году перешел во 2-е отделение словесности (низшее отделение семинарии, по множеству воспитанников делившееся на два параллельных отделения).

Тихо, монотонно, однообразно потекли семинарские годы Добролюбова, принося очень мало радостей и массу домашних невзгод, которые столь часты в семействах среднего круга, где глава дома, занятый с утра до вечера насущными трудами и работами, приходит домой поздно, усталый, угрюмый и на домочадцах вымешивает неприятности, которые в течение дня ему пришлось испытать при исполнении обязанностей; где ежедневно и ежечасно всплывают мелкие дрязги, попреки и черные мысли о нерадостном настоящем и темном будущем; где на каждом шагу найдется то какое-нибудь унижение, то лишение. Чтобы читатель мог составить ясное и полное понятие о детстве Добролюбова, мы приведем описание одного дня из оставшегося после Добролюбова дневника, и день этот бросает яркий свет на все детство тем более, что он новогодний, в котором домашняя обстановка принимает более парадный и праздничный вид.

«2 января 1852 г. Вот и еще один год «юркнул в вечность»! И еще год прошел, и еще годом сократилась жизнь моя. Грустно встретил я этот год, которого ждал я, можно сказать, с нетерпением. Многоя надеялся на него и от него. Но вот пришел он, и при самом вступлении его надежды мои рассыпаются прахом. Грустно, невесело!.. Тяжелый день провел я ныне. Теперь (12 часов вечера) на дворе «бушует ветер, злится буря, свистит и воет буран», и это довольно близко к состоянию души моей. Я не сделал ныне ничего доброго и полезного. Встречая

Новый год, не хотел я спать всю ночь, но в два часа «лег полежать» – не больше, – и задремал, и уснул… а свеча осталась на столе непогашенная, а книга лежала раскрыта. К счастью, огарок был невелик, и, вероятно, скоро дрогорел и погас сам собой. Впрочем, может быть, погасила и няня. Я не говорил об этом ни слова, но целое утро был в каком-то смущении. Наделал было я дела, – подумал я, проснувшись, и прямо бросился в другую комнату к столу, свече и книге и, нашел все в целости, немало был удивлен и еще более обрадован… Потом я поздно пришел к обедне,остоял у порога, сконфузился при исполнении нелепой фантазии, пришедшей мне в голову, поздравить в церкви А. Н. Ник., которая мне только кивнула на мое приветствие, и ушел, не достояв молебна. Потом вздумалось мне идти поздравить мать крестную Л. В. П.; я пошел, встретил сухой прием, проскучал лишние полчаса в жизни, был раздосадован невниманием к себе, получил поручение, которое потом забыл исполнить, и не знаю еще – как отдельаюсь!.. Дома оскорбил маменьку, но вскоре помирился. В половине шестого пошел к одному из товарищей, хорошему знакомому В. В. Л., просидел там часа два ни скучно, ни весело, хотя смеялся очень много… Оттуда мне чрезвычайно хотелось, необыкновенно хотелось побывать у постояльцев наших Щ. и поиграть там с их прекрасными детьми… особенно одна… Там бывает так весело! Все это думал я дорогой; но дома ждало меня достойное заключение этого чудного дня… Нужно было случиться, чтобы у нас в этот день сбежала со двора наша корова… Папенька и так ныне был довольно в худом расположении духа по некоторым обстоятельствам; но когда сказали ему об этом, он окончательно расстроился; и пришедши домой, я застал его в крайне мрачном расположении, особенно потому, что это случилось в Новый год и, следовательно, предвещало несчастие в будущем, – предрассудок, оказавший, однако, сильное влияние на папашу. К вящему несчастию, мамаша со старшей моей сестрой уехали к А. Н. Н. на вечер, папаша был один, и я должен был подвергнуться неприятностям. Сначала папаша пожалел о корове, побранил заочно работницу – за дело! – и принялся писать свои дела… Я подумал, что ждать мне больше нечего, взял свечку и пошел к себе в комнату. Но папаша позвал меня к себе и сказал, что «если б я мало-мальски радел отцу, жалел его, если бы у меня хоть немного было мозгу в голове, то я занялся бы этим делом, а не оставил бы без внимания, будто мне все равно, хоть все гори, все распропади…» После этого нечего было ждать ласкового слова. Я-таки испугался предстоящей сцены и поскорее, по приказанию папаши, сошел в кухню и расспросил кухарку об успехах ее поисков, которые были совсем безуспешны. Узнавши это, я в точности донес папаше. Он стал что-то говорить, и вдруг, Бог весть как, разговор перешел ко мне, и тут-то я должен был выслушать множество вещей, которых теперь и не припомню в подробности. Но только главный смысл их был таков: «Ты – негодяй; ты не радеешь отцу, не смотришь ни за чем; не любишь и не жалеешь отца; мучаешь меня и не понимаешь того, как я тружусь для вас, не жалея ни сил, ни здоровья. Ты – дурак, из тебя толку немного выйдет; ты учен, хорошо сочиняешь, но все это вздор. Ты – дурак и будешь всегда дураком в жизни, потому что ты ничего не умеешь и не хочешь делать. Вы меня не слушаете, вы меня мучаете; когда-нибудь вспомните, что я говорил, да будет поздно. Может, я недолго уж проживу. От таких беспокойств, тревог и неприятностей поневоле захочешь умереть; лучше прямо в могилу, чем этак жить. Ничего в свете нет для меня радостного; нигде

не найду отрады; весь свет – подлец; все твои науки никуда не годятся, если не будешь уметь жить. Умей беречь деньги; без денег ничего не сделаешь; деньги – ох! – трудно достаются: надо уметь и уметь приобретать их; как меня не будет, вы с голоду все умрете; никакие твои сочинения тебе не помогут. Из тебя ничего хорошего не выйдет; хило-гнило, хило-гнило; немного в тебе мозгу; а еще умным считаешься». – Все это, на разные манеры повторяемое, я слушал с 8 до 11 часов, ровно три часа… Каково это вынести? Не в первый и не в последний раз слышал я эти упреки, но ныне они особенно были ужасны для меня. Они продолжались три часа; прекратились не с сердцем, не в гневе, но очень спокойно, только в необыкновенно мрачном и грустном тоне. Я не видел никакого повода к такому обороту разговора, хотя большую частью и сознавал относительную справедливость высказываемых замечаний. Но все это ничего бы: особенно поразили меня упреки в нелюбви, нерадении к отцу, пророческие слова о том, что из меня ничего не выйдет; всего же более эти жалобы на свои труды и беспокойства, на то, что недолго ему остается жить. Чуть не плачу и теперь, припоминая это. Однако мне не хочется верить, и я не смею верить этим словам. Но когда папаша говорил, я не смел, я не мог произнести ни одного слова, если он сам не спрашивал меня: «Так ли?», на что я отвечал только: так… Я бы нашелся, что сказать; но у меня недоставало духу говорить… Не понимаю, что это такое. А папаше это, видимо, неприятно… Но что же делать? Не так, не так надо со мной говорить и обращаться, чтобы достигнуть того, чего ему хочется. Нужно прежде разрушить эту робость, победить это чувство приличия пред родным отцом, будто с чужим, смириить эту недоверчивость, и тогда уже явится эта младенческая искренность и простота… Впрочем, что винить папашу! – я виноват, один я – причиной этого. Должно быть, я горд, и из этого источника происходит весь мой гадкий характер. Это, впрочем, кажется, у нас наследственное качество, хотя в довольно благородном значении… Однако чудный денек! Все так встречают Новый год, не правда ли?… Можно повеселиться!»

Такова грустная картина детства Добролюбова: провинциальная скуча вне дома, оскорбительное невнимание и небрежность в обращении со стороны губернских «шутух», едва удостаивавших ничтожного и неловкого семинариста величественного кивка головы или сухого приема, а дома – ежеминутные ожидания какой-нибудь бури, невыносимых попреков и унизительных порицаний, полное безмолвие перед гневом отца и мучительное чувство отчужденности от него, заставлявшее мальчика тем крепче прижиматься к страстно любимой матушке, нежные ласки которой одни только скрашивали его жизнь. Ко всему этому следует прибавить отчужденность Добролюбова от большинства своих семинаристских товарищ. Будучи значительно младше своих соклассников, он по одному этому уже не мог участвовать ни в их буйных потасовках в низших классах, ни в кутежах – в высших. В то же время и товарищи чуждались его, смотря на него, как на своего рода аристократа среди них, так как он был сыном городского священника, пользовавшегося почетом у епархиального начальства, и в дом такого важного лица немногие семинаристы отваживались заходить, и не более трех-четырех из них бывали в гостях. Они имели случай не только удостовериться, что Добролюбов не был букой, гордым и т. п., но и сами могли в его обществе и семействе стряхнуть со своих костей семинарскую дикость. Впрочем, был один из сотоварищей Добролюбова, некто В.Л., с которым, судя

по свидетельству самого Добролюбова в своем дневнике, он состоял в более близких и интимных отношениях, настолько подчинялся его влиянию, что, по собственным словам, боялся его, замечал каждое его слово, которое могло иметь отношение к нему, не смел противоречить его мнениям, любил выставлять себя перед ним с хорошей стороны и прочее. Но надо полагать, что это влияние не было особенно благотворным. По крайней мере, вот что пишет в своем дневнике Добролюбов, с радостью говоря об избавлении своем от этого влияния:

«Чудное дело, как подумать, что значит школьный товарищ. Не сойдись я с ним, – я уверен, что мое развитие пошло бы совершенно иначе. Я-то на него, конечно, не имею влияния, но он на меня – довольно значительное. Не могу еще решить, хорошо или худо было это влияние, но оно состояло вот в чем: он научил меня, по природе серьезного, смеяться над всем, что только попадется в глаза; он заставил меня, человека довольно основательного и надменного, смотреть на предметы поверхностно, произносить о них суждение, посмотревши только форму и не касаясь содержания; из ума моего он сделал остроумие, из презрения многому – насмешку над этим многим, из внимательности – находчивость. Быть может, это мне и пригодится; но теперь это дурно, не говоря уже о том, что от этого страждеть теперь мое необыкновенное самолюбие».

Однообразная, монотонная и замкнутая жизнь, чуждая каких бы то ни было развлечений, еще более способствовала тому, что с каждым годом Добролюбов все более и более зарывался в книги. В доме отца он нашел библиотеку, состоявшую из 400 томов, в которой, помимо книг богословского или религиозно-нравственного содержания, было немало и светских, между прочим «Всеобщая история» Миллотта, «Естественная история» Двигубского, «Энциклопедический словарь» Плюшара, «Опытный человек» Попе, «О разуме законов» Монтескье, «О множестве миров» Фонтенеля. С жаждостью накинулся юноша на все эти книги, доставая их сверх того и со стороны, по случаю; читал он, помимо ученых сочинений и русских авторов, и журналы. В его упражнениях по классу риторики и пантики постоянно было вредно знакомство с лучшими русскими литераторами, на что и обращал внимание учитель словесности. В упражнениях по всеобщей истории была видна также начитанность. Его возражения, например, по математике профессору-монаху, его критика учебника истории Кайданова были выслушиваемы учениками с участием, которое возрастало, когда профессор не находил возражений, а заминал их своим авторитетом, невозможностью распространяться по причине недосуга и другими уловками. В среднем отделении семинарии Добролюбов поражал всех громадными сочинениями в 30, 40 и 100 страниц на философские темы, а отчасти и из русской церковной истории.

Не ограничиваясь этими классными сочинениями, Добролюбов рано, уже в 13 лет, обнаружил страсть к авторству, конечно, в виде писания стихов, причем он между прочим переводил Горация. В 1850 году он даже решился послать в «Москвитянин» письмо, прося у редакции 100 рублей и обещая за них прислать 40 стихотворений. «Это, – пишет он в дневнике, – давно лежит у меня на совести; и если когда-нибудь выведут меня на чистую воду, то я не знаю, что еще может быть для меня стыднее этого...» Затем в 1852 году он послал в редакцию «Сына отечества» 12 стихотворений под псевдонимом Владимира Ленского. Написал он в том же году три статьи для «Нижегородских ведомостей». Но, по его словам, «одну цензор не пропустил – невиннейшую статью о погоде; другие две,

кажется, сгубили у редактора, по крайней мере, доселе (т. е. до 20 января 1851 года) остаюсь для них, т. е. они для меня остаются во мраке неизвестности».

Междуд тем шло своим путем и внутреннее развитие Добролюбова, проходя те фазы, какие в то время переживали все люди его поколения. Так, первым выходом из детской непосредственности были религиозная экзальтация и суровый аскетизм, в какие вдался Добролюбов с 17-летнего возраста. В этом сказывалось стремление пробуждающегося ума отнести сознательно, серьезно осмыслить то воспитание в духе религиозного благочестия, какое получил Добролюбов в доме своих патриархальных родителей и в семинарии. Так, по словам Кострова, он был самым набожным человеком в Нижнем, считал за грех напиться чаю в праздничный день до обедни, после исповеди до причастия даже воды не пил, всегда молился усердно и с глубоким чувством. Во время говенья в марте 1853 года он вел весьма любопытный дневник своих прегрешений под заглавием «Психоториум», т. е. углубление в душу:

«7 марта 1853 г. 1-й час пополудни. Ныне сподобился я причащения пречистых Тайн Христовых и принял намерение с этого времени строже наблюдать за собой. Не знаю, будет ли у меня сил давать себе каждый день отчет в своих прегрешениях, но, по крайней мере, прошу Бога моего, чтобы Он дал мне положить хотя начало благое. Боже мой! Как мало еще прошло времени и как много лежит на моей совести! Вчера, во время самой исповеди, я осудил духовника своего и потом скрыл это, не покаялся; кроме того, я сказал не все грехи, и это не потому, что позабыл их или не хотел, но потому, что не решился сказать духовнику, что еще рано разрешать меня, что я еще не все сказал. Потом я сетовал на отца духовного, что он не о многом спрашивал меня; но разве я должен ожидать вопросов, а не сам говорить о своих прегрешениях? Только вышел я из алтаря – и сделался виновен в страхе человеческом, затем человекоугодие и, хотя легкий, смех с товарищами присоединились к этому. Потом суетные помышления славолюбия и гордости, рассеянность во время молитвы, леность к богослужению, осуждение других увеличивали число грехов моих...»

Этот ежедневный список «прегрешений» с благочестивыми укоризнами себе вел Добролюбов с 7 марта до 9 апреля, так что набралось целых 32 страницы за эти 34 дня. Все они, разумеется, похожи один на другой; вот, например, 29 страница «Психоториума»:

«4 апреля, 12-й час пополудни. Опять те же грехи в эти два дня: леность к молитве, рассеянность и легкомыслie, осуждение и насмешка, неприязнь к ближнему, вольные суждения, ложь, хитрость и притворство, призывание лукавого, честолюбие и славолюбие, предание чувственности, чревоугодие и лакомство» и т. д. Список этих прегрешений заключается словами: «Господи! Спаси мя, не остави мене погибающим!»

Но аскетизм и самобичевания не были, конечно, исключительным содержанием жизни Добролюбова. Рядом с этим духовно-нравственным возбуждением шли разного рода впечатления и влияния, навеваемые и книгами, и жизнью. Так, рядом с перечислениями «прегрешений» Добролюбов, по его собственным словам, «хотел походить на Печорина и Тамарина, хотел толковать, как Чашкий». Вместе с тем, читая списки грехов, вы видите в числе их первые проблески тревожных сомнений, которые все более и более начинают овладевать юношей, и тщетно он гонит их от себя. Начинается для него период рефлексий и роман-